Художник нам изобразил

История из прошлого века

Художник нам изобразил
Глубокий обморок сирени
И красок звучные ступени
На холст, как струпья, положил.

Осип Мандельштам

Осенью мы переехали в новый дом. Отец стал начальником лесопункта, и представилась возможность сменить тесную квартиру в бараке на отдельный дом. Но это он для нашей семьи стал новым. Мы были в нем совсем не первыми жильцами. Да разве в этом дело? Я заполучил отдельную комнатенку. С настоящей дверью, чего у нас в поселке сроду не бывало. А здесь — дверь, да еще и с внутренним замком. До нас в доме проживала семья, а в этой комнатке, на подселении, что ли, жила бухгалтер-одиночка. А теперь ее получил я. Дверь сохранили, можно было закрываться от людей. Но люди-то были свои: мать, отец, сестра. Потому я не закрывал ее до самого старшего класса, когда уж мы с ребятами стали слушать западную рок-музыку.

Как уютно здесь было в ту первую зиму. В кухне топилась своя печь, а эту — в моей комнате — протапливал я сам. Она согревала еще и большую комнату, куда выходила широким боком. Когда печь немного остывала, можно было прислониться спиной к теплым кирпичам и переживать настоящий кайф.

Еще с осени отец завел собаку, это была помесь дворняги с овчаркой, веселый и задорный песик. Ему дали имя Дозор. Он носился по двору, не зная по мо-

лодости лет никакой цепи. В первую зиму я охотно чистил наш двор, посылая лопатой в соседний огород через забор вместе со снегом то, что производил наш Дозор. Никакого в этом не было злого умысла, я просто не думал, что делаю. Но пришла весна, растаял снег, и в один прекрасный день мы нашли в почтовом ящике записку: «Дорогие соседи! Просим вас убрать с нашей территории экскременты вашей собаки». Отец прочитал, остановившись на непонятном слове. Более просвещенная мать пояснила:

— Видимо, говно нашего Дозора.

— Откуда? — спросил отец.

Я не стал запираться. Взял железную лопату и ведро, отправился на улицу. Снял крючок на соседской калитке, прошел во двор. Дом был закрыт на небольшой висячий замок. Я легко справился с заданием, которое возложил сам на себя. Инцидент был исчерпан.

Тут только я подумал о том, что никогда не видел жителей этого домика. И зиму он простоял с занесенной калиткой. Я спросил нового соседа и одноклассника Борьку, не знает ли он, кто там живет и вообще живет ли.

И Борька сказал:

— Конечно, знаю. Там живет художник. Они с женой приезжают на лето, а зимой домик пустует.

— Ты видел картину на стене в библиотеке? — спросил Борька.

— Видел, конечно. Там Ленин с беспризорниками.

— Ну да. Так это его картина. Он школе подарил.

На другой день я внимательнее, чем обычно, рассматривал картину на стене. На меня обратила внимание школьный библиотекарь Виктория Ивановна и посчитала нужным пояснить:

— Художник сделал копию своей знаменитой картины. Иди-ка сюда.

Она подвела меня к застекленному шкафу, отворила створку, достала журнал «Пионер», уже знакомый мне как читателю. Но это был старый номер. Она пролистала его, открыла на середине. Там была репродукция этой самой картины. Называлась «Их судьбы». Ильич держал в руке телефонную трубку, что-то говорил в нее, а другой рукой трогал (или гладил) взъерошенную голову мальчишки, на котором была изодранная одежонка не по росту. Рядом с ним стояли неопрятный мальчишка постарше и девочка в лохмотьях. Надо полагать, Ильич звонил либо другу Феликсу, либо еще кому-то, кто бы мог устроить *их судьбы.* Вот это да! И этот художник из всесоюзного журнала «Пионер» — мой сосед!

Мне довелось его увидеть уже в конце лета. Он закрывал калитку, уходя. Я возвращался домой со школьной волейбольной площадки. Я отдавал этой игре почти все свободное время, так она мне полюбилась. Но чтение, понятно, занимало в моей жизни тоже немалое место. Я невольно остановился рядом с ним.

— Правильно понимаю, что мы с тобой соседствуем? — полувопросительно сказал он.

Я подтвердил.

— Ну так познакомимся, — предложил он и протянул руку. — Игнат Федорович.

И стали мы здороваться. Он спрашивал, как я учусь, что мне интересно. Уловив гуманитарные наклонности, дал прочесть книгу Ирвинга Стоуна о Ван Гоге. Мне очень понравилось. И он подтвердил:

— Великий художник. Нашел свою манеру и не хотел никому подражать. Не хотел творить ради денег. А признание пришло после смерти. Знаешь, как дорого продают сейчас его полотна! А при жизни едва сводил концы с концами. И то благодаря брату. Да не у каждого такой брат бывает.

Через два лета я даже оказался в его домике. Обстановка самая скромная. В комнате две кровати железные, тумбочка, книжная полка, радиоприемник «Рекорд» (на лето). В кухне стол, шкафчик для посуды. А что еще надо?

Сидели мы за этим столом втроем. Третьей была жена художника. Мне показалось, чуть его моложе, с приятным добрым лицом, с короткой стрижкой. Пили чай. Я ответил на какие-то вопросы и осмелился задать свой:

— А вы сейчас что рисуете?

Игнат Федорович мягко улыбнулся:

— Да есть один серьезный замысел. Но еще не оформился, больше в голове. А пока, чтобы форму не терять, так, этюды. Ну пойдем, покажу.

Мы прошли в комнату, и он показал несколько акварелек удивительно светлых, веселых. И я узнал наше озерцо, написанное сверху, с крутого берега, по которому мы сбегали к воде, чтобы искупаться. Развернул лицом от стены и портрет маслом. Боже мой, так это же она, сейчас только подливавшая мне чай. И правда, какое хорошее лицо. Смотрит внимательно, вся в некотором ожидании, что ли.

— Ну как? — спросила Клара Петровна.

— Хорошо, по-моему, — искренне ответил я. — А вам как?

— Мне понравилось, — сказала жена художника.

— Вот что, Володя, — тронул меня за плечо Игнат Федорович. — Я вам хочу дать прочесть кое-что.

В это мое последнее школьное лето он неожиданно перешел на «вы».

Он достал с полки старый журнал, обернутый в газету.

— Только ради бога, будьте с этим бережнее. Верните в целости и сохранности. Я этим очень дорожу.

Да знаю я, что вы читатель аккуратный, потому и доверяю.

Это был «Новый мир» с повестью Солженицына «Один день Ивана Денисовича».

Она меня потрясла. В ту пору во власти есенинских стихотворений я, несмотря на молодость и веселое общение, постоянно помнил о бренности жизни, о краткости ее. И тут почувствовал, как эта короткая, эта единственная человеческая жизнь может быть отнята злой волей, по сути, растоптана, и невинные люди, оторванные от своих близких, унижены и оскорблены. И жизнь их лагерная не стоит и гроша.

Имя автора мне было незнакомо. Спросил учителя литературы. Она посмотрела на меня с подозрением.

— А с чего это ты заинтересовался?

Я сказал о повести, впечатление от которой было таким сильным, что не остывало уже много дней.

— Ее напечатали пять лет назад, — сказала Зоя Ивановна. — Много с тех пор изменилось. Солженицын сейчас не печатается. Он в некотором конфликте с коллегами-писателями. Потому теперь о нем почти не говорят. А повесть эта... да... это сильная вещь, согласна с тобой.

Зоя Ивановна, наверное, и не могла сказать больше. Хотя отношения у нас были дружеские, доверительные. Она знала, что я собираюсь на филологический. Я слушал у нее с магнитофона Окуджаву, который, как я понимал, тоже был не в почете у коллег-писателей.

Мне хотелось поговорить с художником. Как нарочно, встреч не случалось. Как-то после школы, уже в середине октября, я вышел во двор и засмотрелся на поля. Наша улица крайняя в поселке и тянется по крутому обрыву. Говорят, что в давние времена внизу была пойма реки, это был ее берег. Теперь река отступила далеко, до нее простирались поля, представавшие сейчас в последнем осеннем многоцветье. Побуревшая трава, трепещущие красные листья осин, на глазах покидавшие ветки, а дальше группками стояли березки, их светло-желтые кроны были контрастом темным тяжелым тучам, которые медленно, едва заметно влеклись по небу.

Я перевел взгляд в сторону и за досками нашего забора увидел знакомую фигуру Игната Федоровича. Он пришел из дома с кружкой в руке, поставил ее на табурет. Рядом стоял мольберт. Художник потянулся, распрямил спину, наклоняясь вправо-влево, поднимая и опуская руки. Я окликнул его.

— А, привет, привет, — отозвался художник. — А я вот работаю немного.

— Извините, не буду мешать. Я просто журнал хотел возвратить.

— А, ну хорошо. Володя, вы могли бы дать мне двадцать минут. И тогда милости прошу.

Через полчаса и я прошел той же дорожкой от его крыльца к обрыву. Игнат Федорович сидел на раскладном стуле (такие я видел в кино про зарубежье) и, опустив кисть, смотрел на полотно. Поле предстало там просто желтой полосой, а вот небо с этими суровыми тучами было прописано подробно.

Он услышал меня, обернулся, пояснил:

— Это задник. Я говорил вам — есть одна задумка.

Мы вошли в дом. Я, как ученик мастера, бережно внес мольберт. Игнат Федорович положил на полку журнал, выслушивая мои впечатления и пояснения учительницы.

— Да, Солженицын нынче не в почете, — согласился он. — Человек независимый, пытался напомнить писателям о том, что они должны говорить правду. Но в большинстве своем они — люди робкие, мягко говоря. Творческая среда — она вообще косная, все принимается с опаской, с оглядкой, по своему опыту знаю. Перемены болезненны, лучше жить по привычке, по старинке. Вот такие дела. Вы сами это увидите, когда поступите в университет. Вы же приобщитесь к так называемой культурной жизни города. Александр Исаевич, кстати, мой одногодок. Некоторым образом приятно.

На другой год я стал студентом филологического факультета. А следующей весной в общежитии появилась распечатанная на машинке программа чехословацких писателей «Две тысячи слов». В ней как раз говорилось о свободе слова, о независимости творческого человека. Как ответ на эти заявления в конце лета 1968 года по пражским улицам прошли советские танки. К той поре я уже совсем разлюбил наших вождей и тот режим, в котором мы жили. Разлюбил, но не более того. Меня, понятно, не хватало на активный протест, да и людей, которые бы такой протест организовали, я не видел. Конечно, я не один такой был «тихий антисоветчик». Мы даже единились по этому признаку, шутили зло и, как нам казалось, остроумно над преподавателями-ортодоксами, над сокурсниками, которые старались жить в согласии с линией партии.

Но всяческими творческими проявлениями городской жизни интересовались. Были среди наших знакомцев молодые поэты, были художники, которые называли себя гиперреалистами.

Потому однажды прекрасным зимним днем наладились мы небольшой компанией на областную художественную выставку. После прогулки по сияющему снегом городу музейный зал показался даже сумрачным. Или оттого, что первой предстала нам картина совсем не радостных тонов. Тяжелые тучи шли по небосводу, готовые пролиться холодным дождем. Но это был задник, и я его, конечно, сразу опознал. А на

переднем плане стоял он — вождь мирового пролетариата. Он стоял, сжимая в руке кепку, глядел скорбно, но непреклонно. У ног его лежала могильная плита. Ильич, видимо, давал клятву лежащему под ней, не жалея жизни, бороться с угнетателями и эксплуататорами. Картина называлась «У великой могилы». Ниже, чуть мельче: «Ленин у могилы Маркса на Хайгейтском кладбище». Я задержался у стены, собирая разбежавшиеся мысли. Не мог преодолеть какого-то оцепенения, что ли. Мои товарищи в сторонке пересмеивались, делая мне призывные знаки следовать дальше. Никто не понял, что меня тут остановило.

— Ты, я вижу, потрясен, — сказал, улыбаясь, один из спутников. — Сурового пафоса вещь. Знает мужик конъюнктуру. Весной же грядет столетие Владимира Ильича.

В год этого пресловутого столетия меня выставили из университета. Вместе с моим товарищем из этой компании. Мы распечатали на машинке и собрали в книжечку анекдоты о Ленине, которых тогда появилось немало, так что пришлось провести даже некий конкурсный отбор. Мой товарищ сделал звуковое приложение на магнитофонной ленте. Он сопрягнул фрагмент речи основателя советского государства с интермедией знаменитого тогда Аркадия Райкина. Первый говорил о том, что если поставить в деревню сотни тракторов, то бедный крестьянин уж точно скажет, что он за советскую власть. А второй прерывал эту филиппику фразой: «А со спецодеждой как?»

И, предлагая вместе посмеяться, мы запустили книжку с приложением по этажу родного общежития. Известно, что хорошо смеется тот, кто это делает последним. Последним оказался сокурсник из Северного Казахстана. Учился он кое-как, но мастерски исполнял народные пляски и отвечал в профкоме за художественную самодеятельность. Вот он и оттащил наше произведение куда следует. Мы, в духе древних китайцев, не оставили своих имен на странице. Но авторство ни для кого не было секретом. То есть это, конечно, было устное народное творчество на современном этапе. Но составители-то вот они, ходят рядом с нами, еще и спрашивают окружающих: «Ну как?» И в официальной беседе не стали мы отрицать своей заслуги в подборе материала. Не стали раскаиваться в политической близорукости и сокрушаться по этому поводу. Согласились лишь на то, что, может быть, это несколько рискованно, неуважительно. Но, по мнению людей знающих и политически выверенных, это было неуважительным настолько, что нам предложили подумать о происшедшем за пределами славного вуза.

Особенно страшного тут ничего не было. Загреметь в армию не грозило ни мне, ни товарищу, оба — дефективны. Мы, конечно, надеялись как-нибудь завершить свое высшее образование. А пока работали, не надрываясь. Я был лаборантом в школе, а на полставки еще и учителем истории, товарищ стал почтальоном. Летом прибились к бригаде строителей-калымщиков. Понятно, мы — на подхвате. Тут было трудно, но молодость выручала. А к зиме я опять в школу, там у меня даже свой уголок был — лежанка впритык со столом. Наезжал и в родительский дом. Справился о соседях. Мать сказала, что соседи сменились. Теперь ее подругой стала словоохотливая, но ненавязчивая старушка. Сын — военный — купил для нее этот домик.

И по-прежнему в нашей культурной программе были концерты во Дворце спорта, кино, те же художественные выставки.

История моя близится к завершению. На одной такой выставке — большой, так называемой зональной, — была в тот день встреча с некоторыми художниками. Прошли мы зал, другой. В следующем толкалась группа зрителей, где-то там перед ними что-то говорил невидимый пока художник. Мы неспешно приближались, и голос становился узнаваемее.

— Сегодня человек искусства не должен отставать от жизни, от ее вечного обновления. Мы живем в краю таежном, где можно писать, конечно, милые пейзажи. Но это сегодня преображенный край. Он отдает свои богатства на благо человеку — строителю коммунизма.

Ну точно, не осталось никаких сомнений. Перед нами раскрывал свое творческое кредо он, Игнат Федорович. Чуть постарел, но вполне бодр и говорит напористо, искренне, зажигательно.

— Вот я, человек не первой молодости, тоже не хочу засиживаться дома. Появилась у меня рядом с городом творческая дача. Там хорошо работается. Но там я завершаю то, что рождается в поездках по северу области. Оттуда я привожу свои сюжеты. Вот за моей спиной одна из последних картин. Я назвал ее «К новым буровым». Вертолет высадил группу геологов, а дальше они двинут по бездорожью, сквозь бурелом тайги искать и размечать площадки для будущих буровых вышек.

Он обводил ласковыми глазами посетителей выставки, как бы вовлекая их в этот поиск. Взгляд его чуть задержался на мне. Я видел: он попытался что-то припомнить. Однако мои пижонские усы и большие роговые очки сразу свели на нет усилия его памяти. Да и сам я не улыбнулся и не поднял в приветствии руку.

— Ну вот что, собственно, я и хотел рассказать. А что получилось — судить как всегда вам. Одно могу сказать: есть еще замыслы, и я надеюсь их воплотить.

Игнат Федорович откланялся под аплодисменты и покинул зал.

Народ тоже проредился. Мы подошли к самой картине.

— Да, щедр художник, — сказал мой товарищ, — и души не жалеет, и красок.

Я еще приблизился. И теперь увидел, что о красках сказано в самом прикладном, материальном смысле. Крупные темно-зеленые гроздья были положены на высокую траву, облепившую ноги геологов.

Не сговариваясь, мы отколупнули по большому куску на память.

— А вообще-то задник хорошо прописан, — заметил товарищ. — Видно, чувак с натуры тайгу писал. Я-то знаю такие места.

Фрагмент картины ненадолго задержался в моем кармане. Видно, неосторожным движением я его вытряхнул. И он затерялся в большом мире...

Июнь-июль 2019 года

Жуланчик

Кончилось долгое время генерального секретаря коммунистической партии Леонида Ильича Брежнева. А следом за ним сменялись и как-то даже спешили уходить из жизни его наследники. Но меня это мало интересовало: далеко было от нашей Сибири географически, и, главное, никаких перемен в государственном устройстве не предполагалось. Зато в личной жизни наметились перемены. По распределению после окончания своего филфака я отправлялся в сельскую школу. Призвания учителя не ощущал. А решение принял, когда увидел, как чуть ли не половина наших девушек срочно повыходила за технарей, что позволяло, по крайней мере, остаться в городе — нашем или соседних, неважно. Вот тогда и пришла простая мысль «кто-то должен», и я не стал искать уловок — поехал в село.

Поехал не один. У меня была подруга несколькими курсами ниже, которая сразу, не обсуждая, отправилась вместе со мной. Да что говорить: мы любили друг друга. Она перевелась на заочное отделение. В районном отделе народного образования определили мне место в не близком от райцентра селе, но зато в школе-десятилетке. Это совпало с моим желанием: если уж попробовать учительство, то с ребятами постарше. Директор школы Евдокия Васильевна обещала решить наш жилищный вопрос и свое обещание сдержала. То, что брак у нас был так называемым гражданским, ее не смутило. И вот мы поселились в одной половине брусового двухквартирного дома: кухня, закуток, в который поставили кровать, и большая комната. Из окон этой большой комнаты открывался вид на заречные дали, а внизу под горой лежала невидимая из окна река. Но если выйти за калитку и пересечь дорогу, то представала и река неправдоподобно синего цвета.

Как раз той осенью достроили в селе новый Дом культуры. Мою жену взяли туда заведующей, пригодилась музыкальная школа и неоконченное высшее образование. Перед открытием вышли мы на воскресник по уборке территории. Пришли в основном учителя да еще две девушки из совхозной конторы. Мы грузили совковыми лопатами битый кирпич, куски раствора, бетона в тракторную тележку, а сам трактор «Беларусь» потихоньку двигался к местам скопления мусора. Тракторист, молодой разбитной парень, был сильно пьян. И вот при очередном маневре он просто выпал из кабины, и трактор переехал его сначала передним колесом, а затем задним, буквально вдавив в землю. «Вот как оно бывает», — сказал я себе, наблюдая нелепую смерть. Трактор между тем чихнул и остановился. Но, оказывается, до смерти было далеко. Парень закопошился, а потом и вовсе попытался встать на ноги. «Лежи, лежи!» — закричали мы. Один из учителей хотел бежать за мотоциклом, чтобы доставить пострадавшего к фельдшеру. Тот замахал руками и поднялся. Тогда уж мы подхватили его под руки и повели к больничному пункту.

Назавтра я узнал: перелом одного ребра, остальное в порядке. И все-таки история произвела на меня впечатление. Я увидел, как близко, как рядом с нами смерть. Как легко наша жизнь может смениться несуществованием. И лишний раз подумал о том, что нужно быть бережнее с теми, кто нас окружает, кто нам доверился. И здесь, в деревне, это относилось к ней, моей подруге и жене.

Работников клуба было двое: моя жена и техничка тетя Катя. Не знаю, как бы я работал с этой тетей Катей после того, что там приключилось. Зарплату им привозила из райцентра совхозная бухгалтерша. Приходила к ним в клуб, выдавала. Однажды жена сунула деньги в карман пальто, а уходя на обед, их не обнаружила. Никого, кроме них, за эти полдня здесь не было. Жена развела руками, с надеждой посмотрела на тетю Катю, та изобразила полное непонимание.

Подруга моя была растеряна, оскорблена. Я призывал ее потребовать от технички признания вины. Верил ли в ее покаяние? С какого бодуна? Предлагал даже сам поговорить с пожилой клептоманкой. Нет, жена решительно воспротивилась.

— Она меня проучила, — сказала жена.

— Что ты говоришь? За что проучила?

— Показала, что не надо быть такой доверчивой.

Я чуть не заорал в гневе, но поглядел на нее и все понял: ей не хотелось, чтобы человек оказался полным негодяем.

Но как после этого снова общаться с тетей Катей, говорить ей «здравствуйте» и «до свидания»? Однако все разрешилось само собой. Понадобилось тете Кате уехать в город помогать дочери в сложной ситуации. И на смену пришла бывшая доярка, у которой заболели ноги: на ферме стало работать невмоготу.

В школе среди прочих я получил и выпускной класс — это было интересно и ответственно. В правом ряду сидела ученица высокого роста, со спокойными и размеренными движениями, с большими широко открытыми глазами, слушала внимательно, даже вдохновляла меня общаться так, чтобы не потерять ее внимания. Как-то показал ее жене, когда она с одноклассниками пришла в кино. «Волоокая Ио», — сказала жена.

Я помнил, что в греческих мифах волоокой величалась Гера, но ведь Зевса-то точно околдовала Ио, после чего последовали печальные, даже кровавые происшествия, связанные с олимпийцами. Впрочем, для нашей истории эти разночтения не важны.

Вернулся из армии старший брат моей симпатизанки Миша.

Это был высокий, белобрысый парень, наверное, по-своему симпатичный, если бы не бездумный взгляд его красивых голубых глаз. Наверное, в чем-то глаза их были похожи. И все-таки я, конечно, отдавал предпочтение моей ученице: в ее глазах была осмысленность и тихая тайна.

Миша, как и полагается отслужившему в армии, не сразу заступил на работу. Он отдыхал, ходил в кино, посещал танцы в клубе. Потом стал являться в клуб в дневное время, когда никаких развлечений не предлагалось. Просто там находилась моя жена, составляющая какие-то планы типа концертов к разным праздничным дням или учившая играть на пианино дочку директора совхоза — музыкальной школы у нас не было.

Короче, без всяких стилистических ухищрений надо сказать, что он влюбился в мою жену. Я вполне его понимал. Ведь и меня пленили черные глаза, то вспыхивающие живым огнем, то спокойные, как ночные озера. И это совсем не заимствованный у поэтов образ. В недавние наши ночные купания я глядел в ее глаза и видел отражение темной, глубокой воды — что-то похожее возникало в них, когда она слушала Чайковского или любимую симфонию Калинникова. Она умела говорить точно и образно, а главное, с душой, зажигаясь сама и зажигая собеседника или того, кто просто слушал. Она очаровывала. И ее подвижные руки и ладная фигура тому способствовали. Может быть, ей не хватало округлости форм и длинноногости. Но и без того я осознавал, как мне улыбнулась жизнь.

Иногда, справляясь пораньше с подготовкой уроков, я приходил за нею в клуб. И вот как-то застал Мишу, который сидел и внимательно ее слушал.

Слушал ее игру на этом расстроенном пианино. Ну конечно, «К Элизе», милая бессмертная музыка. Мне показалось, он без удовольствия встретил мое появление. Она доиграла. Мы вышли. Она заперла двери. Пути наши расходились, он жил на другом краю села. Похоже, я прервал сеанс просвещения.

— Он обиделся, — сказала моя жена.

— Обиделся? На кого?

— На меня, на тебя, — сказала она. — Вчера он меня провожал, а сегодня не вышло.

— Мне ревновать? — изобразил я интонацию горячего эстонского парня.

— Да ладно, не паясничай. — Она не приняла, как мне показалось, удачного несерьезного тона.

Дальше мы шли молча. Что-то мне это и всерьез начинало не нравиться. И уже почти у самого нашего дома она остановилась и повернулась ко мне.

— Да что ты, ей-богу, мой пышнопоножный пан, — сказала она. Обняла одной рукой за шею и крепко поцеловала в губы. — Ты у меня такой единственный.

Через пару дней уже в ранние зимние сумерки мы отправились в соседнюю деревню. Идти нужно было мне, но она решила составить компанию. Ученик Бембель не успевал и по русскому, и по математике, и по немецкому, и директор школы надеялась, что такие отдельные, точечные походы учителей-предметников помогут общему делу. Известно: капля долбит камень.

Видимо, отец мальчишки не разделял этого постулата. Уже начал привыкать к посещениям педагогов. Жены дома не было, юнца тоже.

Встретил нас приветливо, усадил за стол, на который выставил бутылку самогона. В одной миске была отваренная картошка. На другую тарелку он выложил из банки соленые огурцы, порезал их на кругляшки. Наконец еще на одной тарелке разместил куски ржаного хлеба. В завершение поставил перед каждым из нас по граненому небольшому стакану, можно назвать их рюмками. Как будто мы пришли в гости к старому

знакомому и, само собой разумеется, отметим встречу. Так оно и получилось. Отказаться после путешествия по морозу было бы неправильно. Мы приняли по стаканчику за знакомство.

— Ребята, я знаю, с чем вы пришли, — сказал Петр Федорович. — Мой недотепа весь в двойках. Надо принимать меры. Так?

—Так, — подтвердил я.

— Ну а какие меры? — задумчиво спросил он. — Какие меры, если его родитель сам такой.

— Какой? — спросил я.

— Какой, какой... Тупой, — пояснил он вяло, видимо, не в первый раз. И оживился: — Вы почему ничего не едите? Картошка вкусная, огурцы не хуже. Обижаете меня, что ли? Как-то я про сало забыл. Сейчас поправим положение.

И вот мы сидели уже с полчаса за беседой о разном: о погоде, о том, держит ли наш дом тепло, об охоте, которой увлечен его мальчишка. Петр Федорович, однако, сам вернулся к нашей главной теме:

— Вот что, ребята. Я его, конечно, шугану, чтобы совсем-то не зарывался. На трояки-то вытянем, поди, вместе. Летом я его в училище определю. А после со мной тут трактористом поработает до армии.

Он смолк, предложив нам эту долгосрочную перспективу. Налил еще по стаканчику.

— Это на посошок! — вскричал я. — Спасибо за угощение. Спасибо вам.

— И вам спасибо, — говорил хозяин, провожая до дверей. — Вы заходите спроста, посидим, потолкуем.

Луна скользила за облаками. Прорываясь на чистые места, открывала глазу снежное поле с темными островками берез. Мороз бодрил. И кто-то из нас заговорил вдруг стихотворным размером, это был я, скорее всего. И она подхватила. Стали мы перекидывать эти фразы друг другу как мячики, и так смешны они нам казались, что мы просто помирали со смеху, как дети. А потом начали целоваться на дороге и снова нести какую-то бестолочь до самого дома. В прихожей приткнули пальто на вешалку, подаренную нам учителем труда. Прошли в спаленку и стали раздеваться, помогая друг другу.

Танцы в клубе завершались в одиннадцать. Я подгадал точно к окончанию. Потихоньку вошел в помещение. На пятачке у сцены обычно отплясывали десятка полтора молодых людей или двигались в танго пять-шесть пар. Сейчас музыки не было, молодежь стояла в ожидании. И в сторону сцены обращал свои слова Миша:

— Сыграйте нам что-нибудь на прощание, пожалуйста.

— Сыграйте, сыграйте, — поддержали его.

Никому не хотелось расходиться.

Полушубки, пальто, ватные телогрейки разбросаны по сиденьям и пока не востребованы.

Моя жена сидела в тени, недалеко от пианино. Тут она поднялась и меня увидела.

— Я сыграю то, о чем попросит мой муж, — сказала она, указав рукой в мою сторону.

Все взоры, что называется, обратились на меня. Конечно, смотрел и Миша. Он утратил положение этакого полномочного представителя молодежи села и сейчас был одним из многих. Я замешкался, не зная, обратить ли по-блоковски все в шутку или принять всерьез. Почему-то предпочел второе и сказал:

— Что ж, если так, сыграйте нам, пожалуйста, Шопена.

Наш диалог продолжился.

— Я так понимаю, — отозвалась она, — нашу любимую вещицу.

— Да, конечно. Мне кажется, она всем понравится.

И вот в полумраке деревенского клуба зазвучала музыка, которая не так давно помогла нашему сближению, пониманию. Это был тот самый любимый многими вальс до-диез минор. И то, что он так нравится многим, вызывало в среде наших факультетских снобов реакцию отторжения. Но нас это никак не смутило. И мы спокойно причислили себя к массе поклонников вальса. Деревенские подростки сейчас это число умножили.

В ясное, солнечное воскресенье Миша придумал и организовал лыжную прогулку по окрестностям. Физрук Алексей выдал две пары лыж, у Миши были свои. Он появился под нашими окнами в назначенный час. В руках лыжи, за плечами — ружье.

— А это к чему? — спросил я его.

— Ну мы же в лес идем, — ответил он, улыбаясь.

Перевел взгляд на мою жену и легонько пожал плечами: вот, мол, не понимают некоторые.

Мы стартовали от школы, сначала по проторенной лыжне, где бегали ребята и сдавали свои зачеты. Потом взяли направление к недалекому перелеску. Лыжный след здесь плохо просматривался, особенно на слепящем солнце, но он был, Миша шел уверенно, и мы тянулись за ним. Среди деревьев глаз уже отдыхал, здесь лежали на снегу синие тени.

Редкие сосны отстаивали свое место у березняка. С одной верхушки на другую перелетали вороны, иногда лаконично каркали.

Я вспомнил, как мы с бабушкой на рубеже весны-лета шли к своему селу от маслозавода, куда относили обед тете Дусе. И вот над нами проносилась воронья стая с нестерпимыми криками, почти воплями.

— Чего это они? — дернул я за руку бабушку.

— Ребятишки, должно быть, балуются, обижают их — гнезда зорят, — подняла она к небу свое изрезанное морщинами лицо.

— Я, баба, никогда не стану гнезда зорить, — зачем-то пообещал ей.

— Дак я про тебя знаю, — ответила бабушка.

Впереди, на голых ветках, зачирикала невидимая мне птица. А нет, вот даже и мне — близорукому — видна красная грудка. Это жуланчик, как называют у нас в Сибири снегирей.

— Поглядите-ка, — показываю я своим спутникам.

Миша снимает с плеча ружье, поводит стволом в сторону дерева. Бухает выстрел. И красный комочек беспомощно валится в снег.

— Ты что, зачем это? — в досаде спрашиваю, повернувшись к нему.

Миша усмехается в аккуратно подстриженные усы:

— Быть в лесу и не выстрелить...

Я больше не смотрю на него. И думаю только об одном: скорее бы дойти до села, уйти домой, где его уже не будет рядом.

Вечером, возвратившись из клуба, жена мне сказала:

— Он извиняется перед тобой.

Вот до чего дошло: имени называть не надо. Мы как сибирские охотники говорим «он», охотники — чтобы не сглазить, а мы просто понимаем, о ком речь.

— Он говорит, что ты посмотрел на него как на врага.

— Никак я на него не смотрел.

— Ну и ладно. Он говорит, что с этим снегирем все вышло не со зла. И он тебя не хотел обидеть. Извиняется.

— Не со зла. А зачем?

— Говорит, что по дурости.

— Забавное объяснение. Ты ему поверила? — спросил я, почти угадывая ответ.

— Поверила, — сказала она твердо. — И забавного ничего нет. Понимаешь, он же почувствовал, увидел, что нам было неприятно. И задумался над этим.

— Ну что ж, замечательно. Что-то пробуждается в человеке.

— Эх ты. — Она выдохнула как-то сокрушенно. — Фигляр ты.

— Вот как здорово! — закричал я. — Паяц и фигляр! Да ты просто молодец. Да пошла ты... знаешь куда!

Но ушел я. Накинул пальто, ноги — в пимы, нахлобучил шапку и — за дверь. Мороз к ночи крепчал. Прогулка моя была недолгой. Однако злость выдохлась, я вполне взял себя в руки. Не разобрался еще, кто из нас прав, но повернул к дому. Обмел у порога пимы веником, вошел в тепло. Она ждала меня, сидя за кухонным столом.

— Садись, выпей чаю с холода, — сказала она.

Я принял ее приглашение, сел к столу, стал помешивать сахар в чашке.

— Вот что, — будто продолжила начатый разговор. — Я не давала тебе повода в чем-то меня винить. Мне казалось, мы лучше понимаем друг друга.

Ей-богу, она умела найти нужные слова и быть лаконичной.

— Прости, я был не прав, — сказал я и все-таки приправил: — Искренне сожалею о случившемся.

Она тихо рассмеялась, положила мне ладонь на руку. Я знал этот жест примирения.

— Ты знаешь, я тут вот что вспомнила. Одна из современниц Чехова рассказывает, как он с ней поделился замыслом. Мол, есть у него такой сюжет: двое пережидают дождь в пустом сарае, шутят, смеются, в любви объясняются. А потом дождь проходит, снова солнце засияло, и тут он вдруг — бац! — умирает от разрыва сердца.

— И дальше? — растерянно спросил я.

— Что дальше? Дальше — ничего. Он этот замысел, кстати, не воплотил. Можешь использовать.

— К чему ты сейчас вспомнила?

— А... к чему? Ну это, что называется, таинственные явления человеческой психики.

Это она вернула мне «искренне сожалею». Была у нас привычка сопроводить что-то свое газетным штампом. И все-таки, помолчав, закончила всерьез:

— Ведь, правда, все так рядом — радость, может быть, счастье и что-то непредсказуемое. Но это не про нас, не гляди ты так на меня. Мы будем жить долго и счастливо.

На другой день после урока моя десятиклассница подошла к столу, с которого я убирал книги и тетради.

— Миша передает вам привет.

— То есть зачем это? Зачем передавать? Увидимся — и сам скажет.

— Может быть, вы нескоро увидитесь. Так что вам и вашей жене просил привет передать.

— Погоди, а где он? Он-то куда подевался?

— Он в город уехал сегодня. Наш старший брат звал его сразу после армии. Хочет пристроить на хорошее место...

— Спасибо. Передавай и от нас, когда будете перезваниваться.

Я шел домой после уроков. Солнце сияло, санная дорога местами подтаяла. Воробьи скакали по дороге, пробавляясь чем бог послал: теребили солому, упавшую с воза, не брезговали потрошить конский навоз. Я шел домой в странном настроении. Здесь было и удовольствие от солнечного тепла, и сожаление о чем-то, об уходящем времени, что ли.